

Михаил Волконский

Гамлет XVIII века



Михаил Николаевич Волконский

Гамлет XVIII века

Аннотация

«В мае 1798 года Москва готовилась к приему императора Павла Петровича. В предшествующем году была торжественно отпразднована тут коронация, и в нынешнем государь выразил желание снова посетить Первопрестольную столицу.

Москва чистилась и принаряжалась на главных улицах. Тут исправляли мостовые, красили дома и заборы; на бульварах подсаживали деревья. В тупиках же, закоулках и переулках ожидание приезда императора главным образом выражалось в толках и пересудах. Те же толки и пересуды ходили в гостиных богатых домов...»

Содержание

I	4
II	9
III	19
IV	27
V	36
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Михаил Волконский

Гамлет XVIII века

I

В мае 1798 года Москва готовилась к приему императора Павла Петровича. В предшествующем году была торжественно отпразднована тут коронация, и в нынешнем государь выразил желание снова посетить Первопрестольную столицу.

Москва чистилась и принаряжалась на главных улицах. Тут исправляли мостовые, красили дома и заборы; на бульварах подсаживали деревья. В тупиках же, закоулках и переулках ожидание приезда императора главным образом выражалось в толках и пересудах. Те же толки и пересуды ходили в гостиных богатых домов.

Выдался ранний теплый майский день, и в сад при доме Лидии Алексеевны Радович прилетел соловей.

Этот дом, огромный, каменный, находился почти в центре города, но представлял собою со своим садом, прилежавшими к нему огородами, прудом, надворными строениями и дворовыми избами целое угодье, как бы усадьбу. Такие усадьбы часто попадались в старой допожарной Москве. Обыкновенно к ним вел от главной улицы особый проезд,

вымощенный бревнами и изгибавшийся между обывательскими домами случайными и причудливыми заворотами, оставшимися и до сих пор в московских переулках.

К Радович, чтобы слушать первого соловья, съехалось большое общество. Сидели на широком, выходившем в сад балконе с толстыми колоннами. Был вечер. Сад, покрытый молодой светлою зеленью едва лопнувших из почек листов, кутался в темно-синем тумане. Открывавшийся с балкона вид на разросшиеся кругом деревья с блестящим между ними прудом никак не позволял предполагать, что тут город, да еще столичный. Видневшаяся поверх деревьев верхушка старинной колокольни одна разве указывала, что тут есть церковь, а следовательно, и еще жилье. Солнце золотило красным уже золотом крест колокольни и верхние ветви.

На балконе был подан чай. О соловье забыли, никто не слушал его, да он и не пел в саду.

Хозяйка Лидия Алексеевна, в красном шелковом молдаване с кружевным чепцом на взбитых и припудренных постаринному волосах, сидела в высоком вольтеровском кресле и держала себя с гостями немножко сверху вниз, а гости, видимо, находили, что ей именно подобает ее важность, потому что вели себя пред нею почтительно и скромно. Если она заговаривала, – все умолкали и слушали. Говорили же по преимуществу тот или та, к кому она обращалась.

Важность старухи Радович и некоторое подобострастие, выказываемое пред нею гостями, происходили вовсе не от-

того, что она была старше, почтеннее, знатнее, богаче или важнее по положению остальных. Лета ее были не бог весть какие. Ей было шестьдесят один, не больше, но на вид она казалась даже моложе и бодрее, чем обыкновенно бывают женщины в эти годы. Состояние, которым она распоряжалась, было, правда, порядочное, но до богатства, какое знала старая Москва, от него было очень далеко. Особенно важно-го положения Радович тоже вовсе не занимала.

Покойный муж ее Иван Степанович происходил из бедных дворян, и все его счастье заключалось в том, что он попал вместе с Гудовичем¹ в приближенные люди к императору Петру III, супругу Екатерины II, и успел получить от своего благодетеля-императора во время его кратковременного царствования хорошую вотчину в Ярославской губернии, дом в Москве, дом в Петербурге и княжеский титул. Все эти земные блага посыпались на скромного и услужливого Радовича по капризу Петра III, без каких-либо со стороны Ивана Степановича особенных заслуг, разве лишь за его скромность и услужливость.

Иван Степанович отличался робостью, был искателен, тих и, когда счастье улыбнулось ему, женился на Лидии Алексеевне, женился не столько по собственному влечению, сколько потому, что этого пожелала сама Лидия Алексеевна.

¹ Граф И. В. Гудович (1741–1820) отличился во время борьбы с польскими конфедератами и во второй турецкой войне при Екатерине. За успешную борьбу с горцами он был назначен кавказским генерал-губернатором, а при Александре получил чин генерал-фельдмаршала. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

Ей было тогда двадцать пять лет — годы, в которые, по тогдашним временам, девушка считалась безнадежно перезревшей. Выйти замуж своевременно ей не позволяли обстоятельства. За дурного жениха идти она не желала, а хорошие не сватались. Не сватались они потому, что Лидия Алексеевна с детства была приучена к роскоши и богатому житью, вкусы у нее и потребности были широкие, а приданого, кроме обширного гардероба, никакого. Отец ее, рано овдовев, прожил свои достатки и существовал казенным жалованьем да долгами. Однако Лидия Алексеевна не теряла надежды выйти замуж и, когда подвернулся взысканный милостью Петра III Радович, быстро повернула дело и женила его на себе. Свадьба была отпразднована торжественно, сам государь был посаженным отцом.

Однако в тот же год вошла на престол государыня Екатерина II, и тут, при этом восшествии, Лидии Алексеевне удалось чем-то услужить императрице. В знаменитую ночь на 28 июня 1762 года, когда Орлов приехал в карете за Екатериной в Петергоф, чтобы возвести ее в Петербург, муж и жена Радовичи не были в Ораниенбауме, где находился Петр III со своими приближенными, а оставались в Петергофе. Вот тут, при спешном отъезде государыни, и успела Лидия Алексеевна услужить ей. Главная же ее заслуга заключалась в том, что она, зная об отъезде Екатерины из Петергофа, не сказала о том даже мужу и не дала знать в Ораниенбаум.

Иван Степанович, после падения Петра III, растерялся и

хотел было броситься к императрице, чтобы просить о милости к себе. Лидия Алексеевна удержала его от необдуманных поступков, на которые он был способен в своей растерянности. Она сообразила, что государыня, если бы даже и хотела, не могла выказывать особенные милости к бывшим приближенным Петра III, недовольство которым было общее и переносилось само собой на тех, кого считали его близкими или присными. Значит, думать о новых милостях было безрассудно; нужно было постараться лишь не потерять того, что было приобретено раньше. На это и обратила все свои старания Лидия Алексеевна.

Растерявшийся муж слушался ее беспрекословно, и она заставила его спешно продать дом в Петербурге и уехать в ярославскую вотчину. Радовичи бежали из Петербурга и спрятали пожалованный Петром III княжеский титул, не решаясь воспользоваться им и оставив не выполненными формальности, необходимые для его утверждения за их фамилией. Лидия Алексеевна вполне правильно рассудила, что им не до титула было тогда. Однако на коронацию Екатерины Лидия Алексеевна приезжала в Москву, представлялась государыне и была принята ею милостиво.

В 1764 году у Радовичей родился сын Денис, и в том же году скоропостижно скончался Иван Степанович.

После смерти мужа Лидия Алексеевна переехала в Москву на постоянное жительство и зажила тут, управляя, на правах полной хозяйки, имением, оставшимся после мужа.

II

Прошло тридцать четыре года, и тридцатичетырехлетний Денис Иванович, хотя давно уже вырос и стал совершенно-летним, ни в чем не прекословил матери, не выходил из ее воли и, несмотря на то что имение и дож принадлежали ему, не смел вмешиваться в дела по управлению ими.

Характером уродился он в отца – был робок, как думали многие, и простоват.

Простоватым считали его по многим причинам. Нелепым казалось, что он уступал матери принадлежавшее ему хозяйское место. Станным было и то, что он, человек, более чем обеспеченный, служил в сенатской канцелярии в Москве и довольствовался там весьма скромною должностью, по-видимому, вовсе не ища такого назначения, где можно было бы получать чины и ничего не делать. Напротив, он, как говорили, работал в канцелярии не хуже обыкновенного чиновника, для которого служебное жалованье являлось единственным источником существования. Мало того, дома занимался он какими-то науками и вместо того, чтобы предаваться свойственным дворянину, имеющему полный достаток, удовольствиям, проводил время за книгами. Никто не ждал его ни участником в каком-нибудь кутеже, ни в театре, ни на балу, ни у цыган.

Такое поведение с точки зрения общественной, понимает-

ся, предосудительным считаться не могло, но и одобрения далеко все-таки не заслуживало. Зачем дворянину сенатская служба и лямка в канцелярии, зачем ему книги и вечное сидение дома, когда он должен управлять своим имением, то есть, говоря иными словами, тратить в свое удовольствие доходы с них? А между тем Денис Радович имение и дом и все оставил на руках матери, а сам «нудил в сенатской канцелярии и предавался чтению». И Дениса считали чудачком, немножко слабоумным, свихнувшимся человеком.

Занимал он в доме две комнаты в верхнем этаже с дверью на вышку, над балконом, выходившим в сад. Здесь у него было нечто вроде обсерватории, стоял большой телескоп, и здесь он проводил все теплые вечера весною, летом и осенью, хотя и зимой дверь на вышку не замазывалась, снег тут счищали, и Денис гулял. Иногда он запирался у себя наверху на целую неделю, и никто из домашних не видал его, кроме прислуживавшего ему казачка Васьки, который чистил ему платье, приносил обед и ужин, единственно допускался в его комнаты. Комнаты эти никогда не прибирались.

Лидия Алексеевна не трогала сына наверху и к нему туда не заглядывала. Она не препятствовала «чужакам» Дениса, по-видимому, разделяя мнение относительно его слабоумия. На одном только стояла она твердо: чтобы он перед ней пикнуть не смел, и действительно, Денис Иванович безропотно молчал перед ней, как молчал, бывало, покойный его отец.

Таким образом, властвуя сначала над мужем, потом – над сыном и не зная границ своеволия над крепостными людьми, Лидия Алексеевна держала себя с такою уверенностью в том, что никто ей перечить не смеет, что в это, как бы под влиянием внушения, верили и все, кто знал ее. Правда, со строптивыми людьми, желавшими пред нею иметь свое собственное суждение, она не зналась вовсе и не принимала таких у себя.

– Государь, – рассказывала она гостям на балконе, – остановится в своем новом Слободском дворце. Это – бывший дом графа Алексея Петровича Бестужева. Государыня Екатерина купила его у сына графа Алексея – Андрея и подарила князю Безбородке, а тот в прошлом году, когда государь приезжал сюда на коронацию, сделав фортель. Государь смотрел из окна на сад пред домом и изволил заметить, что недурной бы плац вышел для парада на месте этого сада. Князь Безбородко в одну ночь велел снести сад, и на другое утро государь увидел готовый плац. Это ему так понравилось, что он купил дом у Безбородки и велел отделать его под дворец и приготовить к нынешнему своему посещению Москвы. Говорит, чудо роскоши...

Хотя все отлично знали не только историю нового Слободского дворца, но и «фортель» князя Безбородки, и даже то, что над устройством этого дворца спешно работали тысяча шестьсот человек даже ночью, при свечах, чтобы успеть к приезду императора Павла, все гости Лидии Алексеевны

сделали вид, что ее сообщение ново для них и интересно, хотя об этом говорили давным-давно повсюду, и сама же Лидия Алексеевна рассказывала это не раз.

Одна только наивная Анна Петровна Оплакрина, вечно все путавшая, вставила свое слово:

– Как же, мне что-то говорили такое... В одну ночь и вдруг плац-парад – это как в сказке... Великолепно!..

– Ничего великолепного нет, – строго остановила ее Лидия Алексеевна, – пустая трата денег и больше ничего. Уж если сама государыня императрица Екатерина не делала этого...

Лидия Алексеевна в прошлом году сильно надеялась, что ей будут оказаны царские милости во время коронации, как вдове бывшего приближенного к отцу государя, но ошиблась в расчете и потому присоединилась к общему голосу недовольства на крутой поворот в режиме, сделанный императором Павлом после распушенности, к которой привыкли прежде.

Анна Петровна, сунувшаяся некстати со своею похвалой, сконфузилась и умолкла.

– Как же вы говорите «великолепно», – сейчас же накинулась на нее другая гостья. – Вот мне Жюли пишет из Петербурга, что нынче зимой гвардейским офицерам запретили с муфтами в холод ездить, и ее сын, «князь» Николай, чуть не отморозил себе руки!.. А вы говорите «великолепно!».

Эта другая гостья была известная всей Москве тетушка

Марья Львовна Курослепова, у которой было бесчисленное количество племянников в Петербурге, и обо всех она тревожилась, хлопотала и заботилась. Маленькая, круглая, вечно суетливая, до всего ей было дело, и во все то она совалась.

— Впрочем, я ничего не говорю, — стала оправдываться Анна Петровна, — я вовсе не нахожу всего великолепным. Помилуйте, нынче я просила для моего калужского попа набрюшник...

— Набедренник, ma tante, — поправила ее племянница, сидевшая рядом с нею, некрасивая старая дева, которую она вывозила, но безуспешно.

— Ну, все равно, набедренник, — продолжала Анна Петровна, — и представьте себе, мне вдруг говорят, что теперь это должно зависеть от духовного начальства, а вовсе не от меня. Какая же я после этого помещица?

— Да и в самом деле, какая вы помещица! — заявила Лидия Алексеевна. — Вы, я думаю, и озимых-то от яровых не отличите.

— Ну, вот еще! — обиделась Анна Петровна. — Я отлично знаю: озимые — это черный хлеб, а яровые — белый...

Все засмеялись...

— Прекрасно, прекрасно! — густым басом не то одобрил, не то сыронизировал Андрей Силыч Вавилов, генерал-поручик в отставке, единственный мужчина, находившийся в собравшемся у Радович обществе на балконе.

Андрей Силыч всюду бывал и держал себя с необычно-

венным достоинством, даже гордо, но никогда не оскорблял никого, потому что, кроме своего излюбленного слова «прекрасно», ничего не говорил. Он и здоровался и прощался, и когда рассказывал что-нибудь или выражал сочувствие или даже порицание, — неизменно повторял одно только «прекрасно», не придавая даже различных оттенков произношению, а усвоив себе раз навсегда одно какое-то общее произношение октавой вниз, которое можно было принимать как угодно: и за иронию, и за одобрение, и за насмешку, и вместе с тем за выражение полного удовольствия.

— Теперь тоже вот мне пишут из Петербурга, — беспокоилась опять Марья Львовна, — что все дамы должны выходить на подножку кареты при встрече с Павлом Петровичем и делать ему реверанс.

— Как же это, у нас в Москве то же самое будет? Да ведь у нас грязь на улицах.

Марья Львовна была права. Грязь с московских улиц издавна, еще со времен Алексея Михайловича, собиралась на удобрение царских садов и была такова, что нередко из-за нее отменялись крестные ходы даже в Кремле.

— А правда, что император собирался сам служить обедню? — спросила вдруг Анна Петровна.

Марья Львовна вздрогнула и испуганно встрепелась. Это было новостью для нее, а она при всякой новости вздрагивала, пугалась и, как воробей на заборе, настораживалась.

— Да не может быть! — ужаснулась она, не веря, однако,

и думая, что Анна Петровна по своей привычке, вероятно, что-нибудь спутала...

– Это верно! – подтвердила старая дева, племянница Оплаксиной.

– Верно, – сказала и Лидия Алексеевна, – я доподлинно знаю, что и архиерейское облачение было уже сшито для Павла Петровича. Только Куракины отговорили.

– А я слышала, что это сделали Нелидова с государыней, – встала Анна Петровна, довольная на этот раз своим успехом.

– Куракины! – грозно обернулась в ее сторону Лидия Алексеевна, и та снова притихла.

– О господи! – вздохнула молчавшая до сих пор Людмила Даниловна, мать двух толстых девиц, одну из которых она в тайнике своих дум мечтала выдать замуж за Дениса Ивановича и потому усердно возила их и сама ездила на поклон к старухе Радович.

За маменькой сейчас же вздохнули обе толстые девицы и тоже сказали:

– О господи!...

Генерал-поручик мотнул головой и прорычал:

– Прекрасно!...

– Повсюду доносы, – сердито начала Лидия Алексеевна, – даже на холопские жалобы обращается внимание, и для облегчения ябед в Петербурге во дворце сделан ящик, куда всякий может класть письма прямо государю. До сих пор

только дворяне имели право писать прямо государю, а нынче — все.

— Прекрасно! — повторил Вавилов.

Лидия Алексеевна обернулась в его сторону, как бы спрашивая, что именно он осмеливается находить тут прекрасным, но генерал-поручик светло и ясно глянул ей в глаза, и вышло так, что прекрасным он, собственно, считает, что дворяне имели право писать государю до сих пор, а что нового, то есть что теперь пишут все, он вовсе не одобряет.

Лидия Алексеевна успокоилась.

— А фраки! — воскликнула Марья Львовна. — Фраки запретили носить военным. Нынче, не угодно ли, в мундире постоянно ходят. Даже в гостиной. Разве гостиная — казарма? Мне племянник пишет из Петербурга, фельдмаршалы на параде в одном мундире во всякую погоду маршируют, старики!

— Это — уже последняя капля в море! — серьезно заметила Анна Петровна.

— В чаше, ma tante! — поправила ее племянница.

— В какой чашке? — не поняла та.

— В суповой! — проворчала насмешливо Лидия Алексеевна.

Анна Петровна окончательно смутилась, виновато посмотрела на нее, потом на племянницу и, во избежание дальнейших недоразумений, не стала настаивать на объяснениях.

Марья Львовна, словно теперь только рассердившись, на-

чала быстро перебирать спицами своего вязанья, которого никогда не выпускала из рук, и заговорила быстро, в лад заходившим спицам сыпля слова, как будто до сих пор не давали говорить ей, и наконец-то она добилась, чтобы ее слушали:

– Да помилуйте, ради бога! Нынче запрещено подавать просьбы со многими подписями, так что дворянам и о своих делах нельзя хлопотать совместно! В одиночку же никто не пойдет... Холопов крепостных к присяге привели на верность! Никогда этого не бывало. Всегда исстари мы за них присягали, и дело с концом. Нынче и дворового не накажи, а не то, того и гляди, под следствие попадешь! Да, знаете ли, до чего дошло? В Петербурге велено все заборы и ворота под цвет будок полосами выкрасить, черной, белой и оранжевой красками... Говорят, эти краски так вздорожали, что к ним прицена нет...

Лидия Алексеевна одобрительно кивала головой на речь Марьи Львовны, Анна Петровна слушала и старалась запомнить, что говорили, сидевшая с ней племянница безучастным взглядом уставилась на небо, генерал-поручик имел такое выражение, что вот сейчас произнесет свое «прекрасно».

А маменька двух толстых дочек, Людмила Даниловна, старалась изо всех сил показать, что она понимает и сочувствует, хотя многого решительно не могла взять в толк. Положение ее было в данном случае вполне безнадежно, потому что и объяснить ей хорошенько было некому.

Две ее толстые дочки одинаково с нею скучали, не понимая ничего, и думали лишь об одном: как бы сдержать нескромный зевок, того и гляди готовый заставить широко раздвинуться их челюсти.

Людмила Даниловна никогда в политику не вмешивалась и весь свой век провела в хлопотах чисто домашних. В девичьем же возрасте она была очень сентиментальна и в свое время отличалась тем, что умела говорить по-модному и знала все модные словечки наперечет. Понедельник называла «сереньким», вторник – «пестреньким», среду – «колетцой», четверг – «медным тазом», пятницу – «сайкой», субботу – «умойся», а воскресенье – «красным».

III

Денис Иванович стоял на своей вышке и, облокотясь на перила, глядел на позолоченную заходящими лучами солнца верхушку колокольни. Снизу к нему доносился разговор на балконе. Сначала он не обращал на него внимания, но потом стал прислушиваться.

Он не терпел несправедливости, даже когда она происходила от вполне искреннего заблуждения. У него, в его думах, успел выработаться и твердо установиться свой собственный взгляд на императора Павла, два года уже правившего Россией, и все, что говорилось внизу, на балконе, не только противоречило этому взгляду, но и было совершенно превратно, неверно и несправедливо, по глубокому убеждению Дениса, основанному на фактах, которые были хорошо известны ему.

У него был как бы некоторый культ, своего рода институтское обожание к Павлу Петровичу, и он уделял часть своих занятий на писание записок о царствовании этого государя, для чего пользовался указами из сената, тщательно списывая наиболее интересные из них.

По мнению Радовича, императора Павла мало знали и мало ценили. Он составлял свои записки не для современников, но для потомства, надеясь, что когда-нибудь они послужат на пользу истины. В минуты увлечения он пытался да-

же писать историю царствования Павла, забывая, что этому царствованию было всего лишь два года и что нельзя писать историю, пока живы толки, мелкие сплетни и пересуды современников и, чтобы видеть лес, нужно отойти от него, не то заметишь только отдельные деревья или, что еще хуже, не увидишь ничего больше кустарника.

«Нет, они не то говорят, не то говорят!» – морщась и страдая, думал Денис, вслушиваясь в разговор внизу.

Наконец, он не выдержал, сорвался с места и кинулся бегом по лестнице вниз на балкон.

Появление его, несколько внезапное, довольно шумное и порывистое, произвело некоторый переполох. Прежде всего он сам, очутившись на балконе, как будто смутился в первую минуту. До него долетал только разговор, но, как сидели разговаривавшие, какие у них были лица в это время, он не мог видеть, и теперь, вдруг очутившись среди них, увидел и смутился. Мать его важно восседала в кресле в углу, выпрямившись и положив руки на локотники, наподобие египетских статуй. Возле нее, немножко поодаль, была маленькая, кругленькая Марья Львовна Курослепова с работой на коленях. Остальные сидели за чайным накрытым столом, уставленным сервизом, вазами и закусками.

При появлении Дениса все обернулись и стали смотреть на него. Марья Львовна умолкла, и вязанье у нее остановилось. Генерал-поручик, бывший ближе других к входной двери, сделал было движение к Денису, как бы желая, в слу-

чае чего, остановить его, но сейчас же откинулся на спинку стула и улыбнулся, словно сказал: «Прекрасно!» Толстые дочери сентиментальной мамыши испуганно схватились под столом за руки, а сама мамаша приняла такую, позу, что вот сейчас, если это будет нужно, она упадет в обморок. Анна Петровна обомлела, а племянница ее перевела только бесстрастный взгляд, вперенный до сего в небо, на Дениса Ивановича.

Он же почувствовал, что ему нужно сделать или сказать что-нибудь, потому что все ждут этого. Он помотал головою и сказал:

– Неправда!..

Сентиментальная мамаша, немедленно раздумав падать в обморок, привстала, выразив желание исчезнуть. Дочки ее отшатнулись в ее сторону. Марья Львовна оглянулась на Лидию Алексеевну, как бы спрашивая ее: опасно или нет, то есть сын ее совсем сошел с ума, или же он по-прежнему тихий и никого не тронет?

Лидия Алексеевна грозно уставилась на сына, но, всей своей фигурой говорила: «Не бойтесь! Если что, так я тут», и вместе с тем взгляд ее, устремленный на Дениса, хотя и выражал «посмей только», но в нем, где-то сзади, как будто вспыхнуло беспокойство.

– Неправда, все, что вы говорили, – неправда, – повторил Денис. – А затем вдруг его голос сделался необыкновенно тих, вкрадчив и приятен. Он точно ласкал им, желая и про-

ся, чтобы его выслушали и поверили ему. – То есть тут есть и правда, – сейчас же запутался он, как бы ища того русла или желобка, по которому могла бы плавно потечь его речь, – правда, что не позволяют офицерам ходить с муфтой; но какой же военный может бояться холода? Я – не офицер, а никогда муфты не ношу. И ничего!

– Блаженные и босыми зимой ходят, – проворчала Марья Львовна, не любившая Дениса, и снова зашевелила спицами.

Она успокоилась, когда Денис заговорил плавно, а за нею и остальные. В глазах Лидии Алексеевны, все еще строго глядевших на сына, блестела уже одна только угроза.

– И пусть ходят, – продолжал он, избегая взгляда матери, – пусть! И это ничего. А дамам из карет велено выходить для того, чтобы они безобразных фижм не носили. Государь против роскоши. А фижмы такие носят и на платье столько материи расходуют, что из нее три платья можно сшить, и когда дама садилась в карету, то фижмы из окон торчали. Вот государь и велел, чтобы дамы выходили. С фижмами не выйдешь. И перестали носить их.

– А государыня Екатерина не так поступала, – обернулась, перебивая Дениса, Марья Львовна к Лидии Алексеевне. – При ней вышли шляпки безобразного фасона. Она и велела двенадцать баб нарядить в эти шляпки и заставить их мести улицу. После этого никто не надел.

– А разве это хорошо? – спокойно спросил Денис, останавливая этим слышавшийся кругом смешок. – За что же

над бабами-то надругались, заставив их выйти на позор в дурацком одеянии? Разве они – не люди? А каково им было? А чем они виноваты? Нет, так не хорошо! А тут просто сами же отвечают те, что носят фижмы! И никогда государь сам обедню служить не собирался. Это вот – уж неправда. Я знаю это. Для него был заказан у духовного портного парчовый далматик, в какой облачаются архиереи, но потому, что это – одеяние грузинских царей, и он хотел надеть его как властитель присоединенной к России Грузии. А сказали, что он обедню хочет служить. Вот вздор! А что ящик для просьб велел государь поставить, так это для того, чтобы всякий доступ к нему имел, а вовсе не для доносов. Военным же своего мундира в гостиных стыдиться не приходится, они умирать идут в нем. Эта одежда почетнее куцега фрака с хвостиками, чтобы, от долгов удирая, было чем след замечать. Красить забора под цвет будок не государь велел, а его именем полицмейстер Архаров распорядился и за это был отставлен от должности. В том-то и беда, что император Павел не может людей найти себе в помощники, которые бы умело исполняли его волю. А начинания у него самые благие. Видно, что он много думал о пользе России! И посмотрите: с самого восшествия его на престол идут указы, один важнее другого. Нет отрасли государственного хозяйства, о которой он не подумал бы. Восстановлены берг-, мануфактур- и коммерц-коллегии; заведены вновь конские заводы, разрешено купцам и мещанам торговать не только в рынках и гостиных дворах, но повсю-

ду; впервые в России начали рассчитываться государственные доходы и расходы, а до сих пор никто не знал достоверно, сколько их. Наново разделено государство на губернии и упорядочено управление ими. Духовенство изъято от телесного наказания. В армии введена дисциплина, учреждены медицинские управы; да, куда ни обернись, всюду вводится порядок, всюду чувствуется заботливая рука хозяина. И все это делает император Павел один, потому что нет у него помощников достойных, какие были у императрицы Екатерины! Посмотрите на язык указов императора Павла; сжатость, краткость, нет лишних слов. Говорится одно дело...

– Прекрасно! – произнес генерал-поручик, давно уже молчавший и почувствовавший чисто физическую потребность подать свой голос.

– Ну, вот, – обрадовался Денис, принимая за похвалу себе слово генерал-поручика, – вот я и говорю! А при Екатерине только разглагольствования одни были в указах, и ничего больше... Вот, – он достал из картона бумагу и стал читать, – вот как писали при Екатерине: «Дворянство да прилежает к службе государственной и домостроительству, отчуждаясь от всего противного и предосудительного званию их. Купечество и мещанство да положат в основание торгам и промыслам их добрую веру, честность и благоразумную осторожность противу мечтательных соображений, нередко под лстивыми видами безмерного прибытка подвергающих разорению. Земледельцы да приложат руки к размножению

земледелия...»

– Прекрасно! – проговорил на этот раз от души генерал-поручик, искренне прельщенный витиеватым слогом указа.

Денис, никак не ожидавший, что его чтение произведет действие, как раз обратное тому, какое он хотел произвести, перестал читать.

– Что ж тут прекрасного! – обиделся он. – Тут одни пустые слова: «да прилежает», «да положат»... Наговорено много, а дела никакого. Все-таки дворянство не прилежало к службе до тех пор, пока Павел Петрович не заставил его служить как следует и являться вовремя военных на ученье и штатских в присутствие... Торговля была стеснена... Одними словами помогать ей – значило только смеяться.

– Это что ж ты, голубчик? Поскольку я смекаю, – вдруг спросила Марья Львовна, вынув спицу и почесывая ею за ухом, – ты о покойной императрице с вольностью желаешь рассуждать?..

– Не рассуждать хочу, – пояснил Денис, – а говорю только, что у нее на людей в начале царствования счастье было, а Павлу Петровичу – несчастье.

– Матушка Екатерина умела выбирать их, – наставительно заметила Марья Львовна. – Потемкин, Орловы, Бецкий, Суворов – какие люди-то!..

– Да нет же, – почти крикнул болезненно Денис, – эти сами явились, и Екатерина не выбирала их. Они, скорее, вы-

брали ее... А что она сама выбрала князя Платона Зубова, например, так он бездарностью был, бездарностью и остался. Кабы она умела выбирать, так Зубова не выбрала бы...

– Да он у вас вольтерьянец! – решила Марья Львовна, обращаясь к Лидии Алексеевне.

При слове «вольтерьянец» на лице Людмилы Даниловны, сентиментальной маменьки толстых дочек, изобразился неподдельный ужас. Хорошенько значения этого слова она не знала, но страшно боялась, потому что со времени своего пребывания еще в институте привыкла считать его не только предосудительным, но и неприличным. Однако остановить Марью Львовну она не посмела и, обернувшись к Денису, сказала, блеснув глазами:

– Мне все равно, но пожалейте невинность!..

И она показала на своих толстых дочек.

Обе «невинности» зарделись, как маков цвет, и стиснули друг другу руку.

– Пошел вон, дурак! – раздался строгий голос Лидии Алексеевны, и на этом закончилось заступничество Дениса и прекратилось его красноречие.

Тридцатичетырехлетний Денис Иванович сморщился, втянул голову в плечи и, ничем не ответив на нанесенное ему матерью оскорбление, повернулся и ушел.

IV

– Ты мне скажи, пожалуйста, – приставала Анна Петровна к племяннице, сидя с ней в карете на обратном пути от Радович, – я не могу в толк взять, о какой чашке вы говорили там?

– Когда, ma tante? – переспросила племянница, смотря в окно поверх низеньких обывательских московских домов на небо, где давно уже зажглись звезды и ясно обозначился Млечный Путь.

Анна Петровна заворочалась в своем углу кареты.

– Какая такая суповая чашка? – заворчала она. – И какие нынче молодые люди на свете объявились! Влетел, как сумасшедший, напугал всех и турусы на колесах, как бобы, разводить начал. Да он и есть сумасшедший. Вот уж подлинно говорится – поставь дурака на колени, он и Богу молиться начнет... Валерия, ты спишь?..

Валерия не спала, но не отвечала на ворчание тетки, не вслушиваясь даже в него. Она смотрела на небо, на звезды, занятая своими собственными мыслями.

Анна Петровна по своему добродушию и по простоте не принадлежала ни к какому особому «приятельскому кружку», имевшему какое-нибудь свое направление или какую-нибудь определенную окраску. Она не только бывала везде (везде бывали все в Москве, и все в Москве знали друг

друга), но и считалась приятельницей с самыми различными представительницами крайних направлений. Поэтому на другой день, утром, после проведенного интимного вечера у Радович, Анна Петровна, ничуть не стесняясь, отправилась с племянницей в совершенно противоположный лагерь – к Лопухиным.

Она знала, что Лопухина недолюбливала Лидию Алексеевну, и последняя сторонилась Лопухиных, но считала, что это происходит просто от взаимной их антипатии, а насчет того, к какому лагерю принадлежали, она не задумывалась и не разбирала. Это было слишком сложно для нее, и, наверное, она все бы перепутала.

К Лопухиной она явилась в сопровождении своей неизменной Валерии, с тою же самой радостно-приветливой улыбкой, с какою вошла вчера к Радович, и просидела у нее весь вечер.

Екатерину Николаевну Лопухину, рожденную Шетневу, она знала, когда та была еще девочкой, знала и ее отца, Николая Дмитриевича, и всегда к ним относилась хорошо, по своей привычке все путать, потому что, строго говоря, к Екатерине Николаевне можно было хорошо относиться, только забыв, какая она была женщина. Про нее ходили слухи, и очень упорные, что она была до своего замужества в близких отношениях с вновь пожалованным при воцарении Павла Петровича светлейшим князем Безбородко, который выдал ее замуж за Петра Васильевича Лопухина, вдовца, ми-

лейшего, честнейшего человека, отличного служаку, всецело поглощенного своими делами и верившего в свою жену. Он был назначен после свадьбы генерал-губернатором ярославского и вологодского наместничества.

Отец же Екатерины Николаевны, Николай Дмитриевич Шетнев, был правителем вологодского наместничества.

От первого брака у Лопухина была дочь Анна. От Екатерины Николаевны был сын Павел. Мачеха была на четырнадцать лет старше падчерицы.

До своего выхода замуж за Лопухина Екатерина Николаевна пережила очень неприятное время вследствие ходивших слухов о близости ее к Безбородке. На нее косились в обществе, донимали ее разными намеками, а то и просто отворачивались. Люди же, которые хотели получить что-нибудь от ее покровителя, подличали пред нею, и эта подлость была еще оскорбительнее презрения.

Одна Анна Петровна Оплакрина, ни на что не обращавшая внимания, относилась к ней всегда одинаково ровно, как относилась ко всем, и за это Екатерина Николаевна одну только ее и любила.

Оплакрина вошла с племянницей к Лопухиным без доклада, как своя, и застала Екатерину Николаевну за делом: у нее шла примерка только что принесенных нарядов для падчерицы. Екатерина Николаевна с энергичным, сильно выдававшим ее тридцать пять лет, однако, все еще красивым, несмотря на положившую на него отпечаток прошлую

жизнь, лицом, сильно размахивая руками, делала замечания француженке-портнихе и, по-видимому, вовсе не обращала внимания на стоявшую посреди маленькой гостиной перед зеркалом падчерицу, словно это была не она, а безгласная кукла. Должно быть, замечания были неприятны и ядовиты, потому что француженка злилась и кусала себе губы.

– Ах, это вы, Анна Петровна? – встретила Лопухина гостью. – Здравствуйте, голубушка! Ну, вот посмотрите, посмотрите, – показала она на воздушную белую атласную накидку с кружевами, надетую на ее падчерицу Анну.

Анна Петровна осмотрела в лорнетку накидку; та понравилась ей и потому она сейчас же сказала:

– Ну, что ж? По-моему, прекрасная *partie de plaisir*.

– *Sortie de bal, ma tante*, – поправила ее племянница, на низкий реверанс которой Екатерина Николаевна даже кивком головы не ответила.

– Прекрасная-то прекрасная, – проговорила Лопухина, – я сама выбирала и фасон, и кружева, но плечи тянет. Вот видите, все находят, что в плечах недостаток, – обернулась она к портнихе по-французски, – надо переделать, чтобы горба не было, а то она горбатая в вашей накидке...

Это должно было быть особенно обидно француженке, у которой у самой была фигура сутуловатая. Она вспыхнула, почти сорвала накидку и откинула ее в сторону с сердцем. Анна, освобожденная, стала здороваться с Валерией.

Екатерина Николаевна показывала в это время Анне Пет-

ровне бальное платье, которым она была довольна.

– Мне кажется, слишком уж открыто, – стыдливо заметила Анна, взглядывая на Оплаксину.

– Платье по последней моде, – не обращая внимания на падчерицу, возразила Лопухина, – не правда ли, хорошо?

– Очень, – похвалила Оплаксина, – но, может быть, и правда – слишком открыто.

– Это-то и нужно, – заявила Екатерина Николаевна.

– Ну, тогда конечно, – согласилась Анна Петровна, хотя и не поняла, зачем было нужно, чтобы платье было очень открыто.

– Так вот накидку переделайте, – обратилась Лопухина к портнихе, – а остальное оставьте.

Француженка вскинула плечами и унесла накидку, ничего не сказав и не простившись.

– Хорошо шьет, но характер – ужасный! – проговорила ей вслед Екатерина Николаевна и стала снова перебирать принесенные наряды, любуясь ими.

По совершенно особым обстоятельствам ей необходимо было, чтобы падчерица явилась на балу, который был назначен во дворце в первый же день приезда государя, лучше всех. Потому она не пожалела денег и заказала такое платье для Анны, что действительно можно было ахнуть.

Валерия опытным взглядом старой девы оценила уже платье и, сев с Анной у окна, смотрела в потолок, потому что на небо нельзя было смотреть – слишком яркое солнце светило

в окна. Она, вопреки тому, что тетка даже в глаза называла ее иногда «старое диво», не завидовала ни молодости, ни красоте Анны, ни наряду, который был сшит для нее. Она давно уже привыкла, подняв глаза, относиться вполне безучастно ко всему, что делалось вокруг нее внизу, на земле, и только почти непроизвольно следила за тем, что говорит тетка и, как эхо, поправляла ее, не отрываясь от своих мыслей.

У Лопухиной горели глаза, и она не скрывала своего волнения, ежеминутно прорывавшегося у нее в каждом слове и движении. Она определенно принадлежала к партии нового двора, готовилась играть там роль и потому считала необходимым знать все, что говорят. Занятая сложным делом обдумывания заказов и примерки туалета для красавицы падчерицы, она прислушивалась ко всем толкам, следила и волновалась, как азартный игрок, желающий сыграть наверняка на крупную ставку.

– Ну, где вы были, что слышали? Рассказывайте! – стала расспрашивать она Оплаксину, беря с нею прямо быка за рога, без всяких подходов и околичностей.

– Да где же я была? – начала Анна Петровна. – Ах, вот, вчера, кажется, у Лидии Алексеевны Радович вечер провела... Валерия! – окликнула она племянницу. – Ведь мы вчера у Радович были?

– Вчера, ma tante...

– У Радович! – проговорила Екатерина Николаевна. – Это интересно! Ну, и что ж?

Она знала, что Радович считалась принадлежащей к старому екатерининскому кружку.

– Ну, и ничего! – протянула Анна Петровна, уверенная, что рассказывает, и рассказывает интересно.

– Кто же был?

– Людмила Даниловна с дочерьми, Вавила Силыч...

– Андрей Силыч Вавилов, *ma tante*, – прозвучала отголоском Валерия.

– Ну, да, генерал-поручик, Курослепова, Марья Львовна...

– Ну, что ж она?

– Ничего!..

«Ничего от нее не добьешься! – мелькнуло у Екатерины Николаевны. – Такая размазня!..»

– Говорили же вы о чем-нибудь! – с досадой сказала она. – Вероятно, о предстоящем приезде государя говорили?

– Да, сын Лидии Алексеевны напугал нас.

– Напугал? Он, говорят... У него не все дома, – и Екатерина Николаевна повертела пальцами пред лбом.

Валерия перевела взор с потолка на нее, глянула, ничего не сказала и снова стала смотреть в потолок.

– Да просто сумасшедший, – сказала Анна Петровна, – влетел на балкон, и так это рассуждать начал. Он, говорят, – однодворец...

– Как однодворец?

– То есть не однодворец, а как их зовут... ну, все равно...

как бишь их...

Валерия стиснула зубы и не приходила ей на помощь.

Про Анну Петровну сочинили нарочно, что она путает «вольтерьянец» и «однодворец». Однако кто-то сказал ей это, и она с тех пор начала действительно путать. Новых же страшных слов – «якобинец» и «карбонарий» – она не знала.

– Неужели он в якобинцы записался? – переспросила Лопухина.

– Нет... не так, – возразила Оплакрина, – а как это, ну, вот он еще: кресла такие делал...

– Вольтерьянцем стал! – улыбнулась, поняв наконец, Екатерина Николаевна.

– Ну, вот, вот, я говорю, кресла.

– Так ведь если он не в своем уме, то это не опасно.

– Как не опасно, матушка? Ведь влетел, спасибо Вавила Прекраснов был тут... А то до смерти перепугал бы... И так это говорить начал про государыню...

– Марию Феодоровну?

– Да нет же, Екатерину Алексеевну, про покойную...

– Вот как! Что же он говорил?

Лопухина, желая подробно узнать, что говорил Радович, и не надеясь на Анну Петровну, поглядела на ее племянницу, спрашивая у нее ответа.

Валерия, не вступавшая до сих пор в разговор, потому что при старших девушкам разговаривать не полагалось, двинулась слегка и, получив разрешение подать голос, стала очень

толково и последовательно передавать все, что вчера говорил Денис Иванович. Она хорошо запомнила все его слова и повторила их сжато и понятно.

Екатерина Николаевна слушала с большим вниманием.

– Что же, все это отлично с его стороны, – проговорила она, когда Валерия кончила. – Так он, по-видимому, человек, преданный Павлу Петровичу?

– Всецело! – воскликнула Валерия.

Лопухина задумалась, помолчала, сложив на стол руки и склонив голову набок, потом улыбнулась и произнесла, как бы сама себе, но все-таки настолько громко, что все слышали:

– Je crois que j'ai шоп homme!²

² Полагаю, что это настоящий человек, который нужен (*фр.*).

V

В понедельник, десятого мая, император въезжал в Москву, и с самого раннего утра народ толпился на Тверской, по которой должен был он проследовать в Кремль, прямо на литургию в Успенский собор.

Две недели уже исправляли мостовую по всей правой стороне царского пути, и она была заставлена рогатками, так что проезда не было. Сегодня рогатки сняли; исправленную мостовую посыпали песком, и стена народа вытянулась вдоль нее, сдерживаемая дудочниками и солдатами.

Денис Иванович, в простом сером кафтане, шерстяных чулках и в обывательской широкополой шляпе, пошел нарочно в толпу, желая слиться с нею при встрече государя. Он шел именно приветствовать его, а не «смотреть» только на его въезд откуда-нибудь из окна или с балкона, словно это был спектакль, составляющий занятное зрелище и больше ничего. Он хотел, чтобы его клик слился с тысячами встречных, приветственных кликов, которые понесутся из народной толпы.

Выходя из дома, Денис Иванович был уже торжественно настроен, и это торжественное настроение нарастало и увеличивалось в нем по мере приближения к Тверской, куда шли и бежали, обгоняя его, такие же, как и он, руководимые тем же, как и он, чувством.

«Царь в Москве! – повторял себе Радович, расплываясь широкою умиленною улыбкой. – Царь в Москве!»

И соединение этих слов казалось ему необыкновенно трогательным и полным таинственного, великолепного, возвышенного и радостного смысла.

Он был уверен, что все кругом, кроме, конечно, закоренелых в распущенности бар прежнего царствования, понимали, что почти в течение целых ста лет Россией управляли женщины и что изнеженность двора, а за ним и общества, дошла до последних пределов для нас, русских. И вот, наконец, воцарился император, круто повернувший прежние порядки и сильной рукой взявший бразды правления. По тому, что успел сделать государь, по той энергии, с которою он вел дело, добиваясь правды, справедливости и действительной работы, Радович сравнивал Павла с Петром Великим и находил, что и тому, и другому выпала на долю почти одинаковая по трудности работа. Разница состояла лишь в том, что наряду с недовольными при Петре были и такие, что понимали его, а вокруг Павла Петровича никто не был доволен.

«Но зато народ, тот народ, на пользу которого клонится всякое его распоряжение, народ, признанный ныне за людей, впервые приведенный наравне с другими сословиями к присяге, – думал Денис Иванович, – должен понять со временем, что желал сделать для него император Павел!»

И Радович, как-то особенно лихо двигая плечами и размахивая руками, вышел на Тверскую и оглянулся.

Сердце его словно окунулось в радостное, светлое чувство. Тут было именно то, чего он ожидал. Море голов, теснящееся вдали в утреннем весеннем тумане, казалось бесконечным и налево, к заставе, и направо, вниз, к Кремлю.

В темной рамке народа пролежала усыпанная песком желтая, широкая, словно девственная по своей чистоте, дорога, от которой почтительно пятились по обе стороны люди, боясь топтать путь, приготовленный для царского проезда. И небо как будто здесь было еще светлее, чем всюду кругом. И эта толпа, и усыпанная песком улица производили бодрящее, праздничное впечатление. Всюду – и в окнах, и на крышах домов, и на заборах, и на деревьях виднелись люди.

«Хорошо, любо!» – одобрил Денис Иванович, оглядываясь и входя в толпу, успевшую уже сжиться и освоиться с моментом.

Ему всегда нравились та равноправность, общность и какое-то дружное товарищество, которое обыкновенно устанавливается в русской толпе, по какому бы поводу ни собралась она. Сколько раз его в толпе толкали, давили: ему всегда только весело было, так же весело, как когда тут же мужик обращался к нему с простодушной шуткой.

На этот раз Радович не полез в первые, тесные ряды, а решил держаться сзади, наметив для себя выдающийся карниз на фундаменте каменного домика, на который можно было удобно привстать в нужный момент. Тут, у стены дома, было гораздо свободнее. Можно было двигаться, наблюдать и

вдоволь любоваться собравшимся народом.

С первого же взгляда Дениса Ивановича умилил молодой парень в цветной рубахе навыпуск и в сапогах. Парень, широколицый, курносый, стоял, растопыбив руки и ноги, и широко улыбался, главным образом тому, что на нем были праздничные рубаха и сапоги, и он чувствовал себя поэтому очень хорошо и весело. Умилил же он Дениса Ивановича тем, что надел сегодня именно праздничную рубаху, идя в толпу, чтобы встречать государя. Ведь в этой толпе государь и не заметит его; да не только государь, – никто не обратит на него внимания, а вот он все-таки надевает лучшее, что может, потому что сегодня праздник – царь в Москве!

«Молодец, право, молодец!» – решил Радович.

Но сейчас же его внимание привлекла старушка разносчица, продававшая грошовые леденцы и другие сласти в лукошке, висевшем у нее через плечо на веревке. Старушка показалась Денису Ивановичу славной и вместе с тем жалкою.

– Что, бабушка, как торговля идет? – заговорил он с нею.

Она оглядела его: зачем он, дескать, у нее спрашивает, и не желает ли он просто посмеяться над ней или выкинуть какую-нибудь штуку? Она привыкла вести торг больше всего с ребятами, а купцов, или, еще пуще, господ, очень боялась.

– Ну, продай мне что-нибудь, – предложил Радович.

– А что тебе надоть? – все еще недоверчиво усомнилась старушка.

Денис Иванович посмотрел в ее лукошко. Там и товара-то

было много-много рубля на два.

– А вот что, – решил он, – хочешь, я все у тебя куплю? Сколько возьмешь за всё? Я три рубля дам...

Он думал, что чрезвычайно обрадует старушку и, обрадовав ее, хотел обрадовать окружающих, в особенности сношавших там мальчишек, раздав им все сласти; но разносчица не поняла.

– За что три рубля? – переспросила она.

– Да вот за весь твой товар.

– За весь? Ты, значит, все купить хочешь?

– Ну, да, все, и три рубля тебе дам.

Радович старался говорить как можно серьезнее, чтобы убедить, что он не шутит, и поспешил достать деньги даже.

Старуха растерялась. Около них составилась уже кружок.

Почтенный мещанин счел долгом вмешаться в дело и стал объяснять, что барин хочет наградить торговку, дав ей за ее товар такие деньги. Он признал в Радовиче барина потому, что то, что тот хотел сделать, было, по его мнению, так глупо, что только барин был способен на это.

Разносчица, наконец, поняла, но нисколько не обрадовалась.

– А чем же я торговать буду, если тебе все продам? – заявила она и, став на этом твердо, наотрез отказалась от сделки.

Она растолкала своим лукошком себе дорогу и ушла, как будто даже недовольная, что хотели сделать так, чтобы ей

«торговать было нечем».

В тупой, неожиданной несообразительности разносчицы и даже в самой манере ее вопросов и ответов было много такого, что напомнило Денису Ивановичу разговоры приятельниц его матери – Оплаксиной, Курослеповой и других.

«Чем она, право, хуже их?» – подумал он про разносчицу.

Хотя общее мнение стоявших кругом о Радовиче было такое же, как и почтенного мещанина, то есть, что он хотел поступить глупо, но все-таки это возбудило к нему сочувствие и дало ему популярность в ближайших рядах. И молодой парень в праздничной рубаше, и мальчишки, и почтенный мещанин, и все остальные сейчас же признали в Денисе Ивановиче уже «своего барина», которого они не дадут в обиду, причем это отношение было вовсе не служебно-почтительное, а любовно-покровительственное, как к существу чудному и, скорее, слабому. Радович хотел отойти в сторону, но остальные двинулись за ним, видимо, ожидая от него еще какой-нибудь выходки.

На карниз фундамента присел мальчишка, продававший длинные, сухие, мучные белые пряники. Торговля у него шла бойко, благодаря давно установившемуся приему сбыта такого товара. Это была своего рода азартная игра. Покупатель платил мальчишке за два пряника грош и ударял ими о край его лубочного лотка. Если пряник разламывался на три части, а не на две или больше, то покупатель получал лишний пряник даром. Особенно подростки азартничали тут.

Радович подошел к лотку с пряниками, и сейчас же все расступились пред ним. Он купил два пряника, попробовал ударить, — они сломались на две части. Это его подзадорило.

— А ну-ка, ты сам попробуй, — предложил он мальчишке, — хочешь, за каждый сломанный на три части я буду платить по два гроша, а если нет, то беру пряник даром.

Мальчишка тряхнул только головою, подмигнул и — раз, раз — стал ударять пряниками о край лотка, и все они у него разлетались на три части.

— погоди, давай мне! — увлекся Радович, и стал сам пробовать.

Кругом принимали живейшее участие в барине, давались советы, высказывались одобрения и поощрения. Бежал радостный гул, когда Радовичу удавалось разломить пряник на три части. Куски и крошки летели. Денис Иванович горстями раздавал обломки. Веселье стояло общее.

— Коллежский секретарь Радович, что это вы делаете? — раздался вдруг строгий голос.

Денис Иванович остановился с пряником в руке, осмотрелся и увидел, что из окна дома, у которого происходило все, высунулась голова сенатора Дрейера, самого сухого, важного и старого служаки из всех его начальников. Этот сенатор был человек, до того преданный своим служебным занятиям и поглощенный ими, что, когда его спрашивали, например, не слыхал ли он о Шекспире, он морщил лоб и, не обинуясь, отвечал: «В московских департаментах прави-

тельствующего сената дела господина Шекспира за последние десять лет не было». Он даже с французской литературой знаком не был и про Мольера говорил, что люди достоверные ему свидетельствовали, что это – хороший писатель, а потому он его может признать.

Дни Дрейер проводил либо в сенате, либо дома за делами и решительно никуда не ездил.

Он и сегодня воспользовался тем, что ему, как лютеранину, не нужно было ехать в Успенский собор к обедне, а до общего приема во дворце еще было много времени, и сидел у себя дома, занимаясь и заперев окна, чтоб не мешала ему толпа на улице. Но увеличившийся шум под окнами заставил его посмотреть, что там такое. Он поднял окно, высунулся и, к ужасу своему, увидел, что причиной шума было предосудительное поведение служащего в канцелярии сената коллежского секретаря Радовича, занимавшегося мальчишеской игрою ломания пряников!..

Дрейер остолбенел и уставился на Радовича, выглядывая из поднятого окна, которое придерживал одною рукою.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.